

Р.О. Якобсон

Из воспоминаний

С Хлебниковым я познакомился в конце декабря тринадцатого года. Я решил, что необходимо встретиться и побеседовать. У меня перед ним было восхищение, не поддающееся никаким сравнениям.

Уже вышел первый альманах «Садок судей». В то время я нашел у знакомых и чуть не зачитал уже редкостный первый «Садок» — я считал, что владельцам он ни к чему, но они потребовали его обратно — пришлось вернуть. Первый «Садок судей» меня ошеломил, а когда я прочел в рецензии Городецкого на второй «Садок», что в «Студии Импрессионистов», в том же десятом году, были напечатаны стихи Хлебникова «Заклятие смехом», они меня впрямь потрясли.

Хлебников снимал комнату где-то у черта на куличках, именовавшихся чем-то вроде каменноостровских Песков. Я помню, как искал его жилище, помню, что был пронзительный и для москвича необыкновенно сырой холод, так что все время приходилось держать платок у носа. У автора «Смехачей» телефона не оказалось, и я пришел, не предупредив. Его не было дома, я просил передать, что зайду завтра утром, и на следующий день, тридцатого декабря тринадцатого года, я с утра заявился к нему и принес с собой для него специально заготовленное собрание выписок, сделанных мною в библиотеке Румянцевского музея из разных сборников заклинаний, заумных и полузаумных. Часть была извлечена из сборника Сахарова — бесовские песни, заговоры, и вдобавку детские считалки и присказки. Хлебников с пристальным вниманием стал немедленно все это рассматривать и вскоре использовал эти выписки в [стихотворении] «Ночь в Галиции», где русалки «читают Сахарова».

Между тем вошел Крученых. Он принес из типографии первые, только что отпечатанные экземпляры «Рява!». Автор вручил мне один из них, надписав: **В. Хлебников. / Установившему родство с солнцевыми девами / и Лысой горой / Роману О. Якобсону / в знак будущих Сеч.** Это относилось, объяснил он, и к словесным сечам будетлянским, и к кровавым боям ратным. Таково было его посвящение.

Я спешил поделиться с Хлебниковым своими скороспелыми размышлениями о слове, как таковом, и о звуке речи, как таковом, то есть, основе заумной поэзии. Откликом на эти беседы с ним, а вскоре и с Крученых, был их совместный манифест «Буква, как таковая».

На вопрос мой, поставленный напрямик, каких русских поэтов он любит, Хлебников отвечал: „Грибоедова и Алексея Толстого“. Это очень понятно, если вспомнить такие стихи, как «Маркиза Дзес» и «Семеро». На вопрос о Тютчеве последовал хвалебный, но без горячности, отзыв.

Я спросил, был ли Хлебников живописцем, и он показал мне свои ранние дневники, примерно семилетней давности. Там были цветными карандашами нарисованы различные сигналы. „Опыты цветной речи“, — пояснил он мимоходом.

С Алексеем Елисеевичем Крученых у нас сразу завязалась большая дружба и очень живая переписка. К сожалению, много писем погибло, в том числе все его ко мне письма. Часто писали мы друг другу на теоретические темы. Помню, что раз он написал мне насчет заумной поэзии: „Заумная поэзия, хорошая вещь, но это как горчица — одной горчицей сыт не будешь“. По-настоящему он ценил только поэзию Хлебникова, но не все. Маяковским он не интересовался.

Крученых ко мне приезжал в Москву. Снимал он в то время комнатенку где-то в Петербурге, и как-то он меня позвал. Жил он бедно, хозяйка принесла два блина. А он отрезал половинку для меня: „Попробуйте, кажись, не вредно? Знаете, как говорят, баба не вредная“.

Потом мы с Крученых выпустили вместе «Заумную гнигу» (*гнигу* — он обижался, когда ее честили “книгой”). Впрочем, неверно, что она вышла в шестнадцатом году. Крученых поставил шестнадцатый год, чтобы это была “гнига” будущего. А вышла она раньше, во всяком случае в работу все было сдано в четырнадцатом году, и писал я это до войны.

У Крученых бывали очень неожиданные мысли, неожиданные, озорные сопоставления и колоссальное чувство юмора. Он замечательно декламировал и пародировал. Когда я был у него в Москве, незадолго до его смерти, когда ему было уже под восемьдесят, он все еще превосходно

разыгрывал свои ненапечатанные произведения, манипулируя стулом, меняя интонацию, меняя произношение, громоздя забавные словесные игры. Он очень обрадовался нашим встречам; видно было, что он дорожил своим бюджетным прошлым и его соучастниками.

В то утро я спросил у Хлебникова, свободен ли он для встречи Нового года: „Можно ли вас пригласить?” Он охотно согласился. Вот и мы пошли втроем — Хлебников, Кан и я — в «Бродячую собаку».

Было много народу. Меня поразило, что это вовсе не был тип московских кабачков — было что-то петербургское, что-то немножко более манерное, немножко более отесанное, чуточку прилизанное. Я пошел вымыть руки, и тут же молодой человек заговаривает с фатовой предупредительностью: „Не хотите ли припудриться?” А у него книжечка с отрывными пудренными листками. „Знаете, жарко ведь, неприятно, когда рожа лоснится. Возьмите, попробуйте!” И все мы для смеху напудрились книжными страничками. Мы сели втроем за столики и разговаривали. Хлебников хотел нам вписать какой-то адрес, и по просьбе Кана написал ему в записную книжку четверостишие, которое тут же вычеркнул. Это было описание «Бродячей собаки», где стены были расписаны Судейкиным и другими. Запомнилась строчка:

Судейкина высятся своды.

Это снова тот же мотив, который вошел в «Игру в аду», а потом есть у Маяковского в «Гимне судье» — свод законов. Словесная связь *Судейкина* и *судьи* дала тут повод для каламбура.

Мне он написал какой-то вариант двух-трех строк из «Защиты смехом».

Подошла к нам молодая, элегантная дама и спросила: „Виктор Владимирович, говорят про вас разное — одни, что вы гений, а другие, что безумец. Что же правда?” Хлебников как-то прозрачно улыбнулся и тихо, одними губами, медленно ответил: „Думаю, ни то, ни другое”. Принесла его книжку, кажется, «Ряв!», и попросила надписать. Он сразу посерьезнел, задумался и старательно начертил: **Не знаю кому, не знаю для чего.**

Его очень вызывали выступить — всех зазывали. Он сперва отнекивался, но мы его уговорили, и он прочел «Кузнечика», совсем тихо, и в то же время очень слышно.

Было очень тесно. Наседали и стены, и люди. Мы выпили несколько бутылок крепкого, слащавого барзака. Пришли мы туда очень рано, когда все еще было мало народу, а ушли оттуда под утро.

Мною овладело и росло невероятное увлечение Хлебниковым. Это было одно из самых порывистых в моей жизни впечатлений от человека, одно из трех поглощающих ощущений внезапно уловленной гениальности. Сперва Хлебников, через год Николай Сергеевич Трубецкой, а спустя еще чуть ли не три десятка лет, Клод Леви-Строс. У последних двоих это была первая встреча с незнакомцами, несколько почти случайно оброненных и услышанных слов, а Хлебниковым я уже давно зачитывался и изумлялся читанным, но вдруг в тиши новогодней пирушки я его увидел совсем другим, и немыслимо, безраздельно связанным со всем тем, что я из него вычитал. Был он, коротко говоря, наибольшим мировым поэтом нынешнего века.

* * *

Роман Jakobson о Велимире Хлебникове

По приезде из Риги я работал с Хлебниковым. Мы готовили вместе двухтомник его сочинений. Когда я приехал, Хлебников был в Москве. Он меня очень сердечно принял, и мы часто виделись. Когда мы оставались вдвоем, он много говорил — а так он больше молчал. И он говорил интересные вещи — например, как фразы, построенные без всякого юмора и без всякого намерения иронизировать, становятся издевками: „Сенат разъяснил” — это действительное выражение, а потом ‘разъяснил’ получило значение, что ‘лучше бы не разъяснил’. Он приводил несколько таких примеров.

Он говорил, прыгая с темы на тему. Он очень радовался, что я готовлю его книгу, потому что он знал, как я к нему отношусь, и он знал, что у меня была очень хорошая память.

Так называемое «Завещание Хлебникова» — это не завещание, а просто список, который мы вместе составляли — то, что он хотел, чтобы туда вошло. Мы решили, что ему надо сказать что-то от себя. Как назвать? Я ему предложил назвать предисловие «Свояси». Это ему очень понравилось. Одно время я колебался: может быть, вместо «Свояси» — «Моями», но это как-то не понравилось по звучанию.

Хлебников очень резко относился к изданиям Бурлюка. Он говорил, что «Творения» совершенно испорчены, и он очень возмущался тем, что печатали вещи, которые были совсем не для печати, в частности: **Бесконечность — мой горшок, / Вечность — обтиралка. / Я люблю тоску кишок. / Я зову судьбу мочалкой.** И он многое исправлял, и в рукописях, и в печатных текстах. Он был против хронологии Бурлюка, которая была фантастической, но это его не так трогало — его трогали главным образом тексты и разъединение кусков.

Было очень интересно работать с ним над этим. Мы часто встречались. Я сидел у Бриков постоянно, а изредка он ко мне заходил. Однажды мы были далеко от центра, на одной из маленьких выставок, устроенных ИЗО, — выставке произведений Гумилиной. Мы говорили о живописи, был очень интересный разговор, и мы шли пешком ко мне в Лубянский проезд. Я ему предложил подняться ко мне. Мы продолжали разговаривать, вдруг (это было вскоре после сыпного тифа) я себя почувствовал совершенно усталым, лег и уснул. Когда я проснулся, его уже не было.

Это была наша последняя встреча. Потом он уехал. Это никогда нельзя было предвидеть. Ему вдруг хотелось уехать куда-нибудь; у него был такой кочевой дух. Если бы он тогда не уехал, возможно, что мы бы довели до конца эти два тома. Объяснить это было невозможно. Это не потому, что он голодал — у Бриков его все-таки подкармливали. Может быть, Лиля ему сказала что-нибудь обидное, это бывало... Он был очень трудный жилец.

Мое предисловие к сочинениям называлось тогда «Подступы к Хлебникову» и было издано потом в Праге под названием «Новейшая русская поэзия». Это предисловие я читал в мае девятнадцатого года, у Бриков, на первом заседании Московского лингвистического кружка, после Октябрьской революции. Хлебникова не было в Москве, он уже уехал на юг. Был Маяковский, который выступил в прениях. Лиля почему-то опоздала и спросила: „Ну, как было?“ — и Маяковский сказал соответствующее горячее слово.

Тогда были очень крепкие отношения с Хлебниковым, с обеих сторон. Было ясно, что я ему был ближе, чем Брики. Бриков он как-то немножко побаивался, сторонился.

Очень сложные были его отношения с Маяковским. Маяковский с ним говорил немножко наставительно-любезно, очень почтительно, но в то же время держал его на расстоянии. Он относился к нему напряженно, но одновременно восторгался им. Все это было очень сложно. Ведь есть очень сильное влияние Хлебникова на Маяковского, но есть и сильное влияние Маяковского на Хлебникова. Они были очень разные. Я думаю, что Маяковского больше всего подкупали в Хлебникове какие-то мелкие отрывки, которые были необычайно целостны и сильны. А о Маяковском я от Хлебникова никогда ничего не слышал, по крайней мере ничего не помню.

Никогда не забуду, как во время работы над хлебниковскими поэмами на столе лежал открытый лист рукописи с отрывком **Из улицы улья / Пуля как пчелы. / Шатаются стулья <...>** Володя это прочел и сказал: „Вот если бы я умел писать, как Витя...“.

Я ему раз это напомнил, и напомнил жестоко. Я на него очень сердился, что он не издал Хлебникова, когда мог и когда получили деньги на это, — и не только не издавал, но написал: «Живым бумагу!». Он ответил: „Я ничего такого никогда не мог сказать. Если бы я так сказал, я бы так думал, и если бы я так думал, я перестал бы писать стихи“. Это было в Берлине, когда мне нужно было устроить так, чтобы нашлись рукописи Хлебникова — это была идиотская история, которая, конечно, взорвала Маяковского и очень обозлила его. Он не помнил, что случилось с рукописями, ничего об этом не знал. На самом деле он был совершенно ни при чем. История была такова.

Я боялся за рукописи Хлебникова. Квартира моих родителей была, после их отъезда, передана Лингвистическому кружку. Там стояли ящики с книгами Кружка, были полки и остался без употребления несгораемый шкаф отца. В этот несгораемый шкаф я положил все рукописи. Там были и другие вещи, в частности, мои рукописи.

После смерти Хлебникова я получил от художника Митурича письмо [с просьбой] помочь [выяснить],

что сделал Маяковский с рукописями Хлебникова. Я совершенно растерялся. Я знал, что к этому Маяковский никакого касательства не имел. Он их в руках не держал, кроме того случая, о котором я рассказывал, когда он их просто на месте прочел. Я сейчас же (из Праги) написал своим друзьями из Кружка, в частности Буслаеву, которому я дал ключ от шкафа. А он ключ не мог найти. Тогда я сообщил, что прошу вскрыть шкаф — пусть его уничтожат, мне до этого дела нет. Мне писали, что это будет стоить большую сумму. Я ответил, что все заплачу, и послал деньги каким-то путем. Вскрыли шкаф и нашли рукописи. Они все сохранились. Что *не* сохранилось, — потому что не находились в шкафу, — это были мои книжки с сочинениями Хлебникова, где он своей рукой вносил поправки, частью заполнял пропуски.

Никогда не бывало, чтобы Хлебников говорил резко о ком-нибудь. Он был очень сдержан и очень, так сказать, сам по себе. Он был рассеянным человеком, каким-то бездомным чудачком до последней степени.

Хлебниковым вообще восторгались, понимали, что он очень крупен. [Но] у Бриксов нельзя было сказать тогда, что Хлебников больше Маяковского — но где такие вещи можно сказать? Для меня же было совершенно естественным заглавие лекции Бурлюка «Пушкин и Хлебников». Я его принял совершенно и всецело. Думаю, что его еще по-настоящему не приняли — его еще откроют. Для этого нужно хорошее издание — по изданию Степанова нельзя его читать. Его [глубоко] понимал Крученых, который однако целый ряд вещей принимал только на веру — „Неужели вам может нравиться «Вила и Леший»”? — „Это — так”.

Больше всего значил Хлебников для Асеева, который был в восторге от него. А совершенно чужд он был Пастернаку — об этом не раз с ним приходилось говорить. Пастернак говорил, что он Хлебникова совсем не понимает.

Публикация *Б. Янгфельдта*

Роман Якобсон о Велимире Хлебникове

Воспроизведено по: Р.О. Якобсон. Из воспоминаний. — В сб. Мир Велимира Хлебникова. Издатель А. Кошелев. М.: Языки русской культуры. 2000. Стр. 83–89